

ЛАЙКО

АЛЕКСАНДР

КАРТИНЫ

Александр Лайко

КАРТИНЫ

стихотворения разных лет

Мюнхен, 2014

Александр Лайко

КАРТИНЫ

Технический редактор
И. Малкиэль

© A. Лайко

I

Станция «Пески»

Как холодно на перекрёстках!
В подъезде дуют сквозняки –
В пролёты сыплется извёстка,
В пролёты жизни и реки
Москвы
У станции «Пески»,
Где звуки горна с барабаном
Тревожат пионерский сон.
Над геральдическим бараном
Кумач на мачту вознесён.

В прохладной церковке – обеды,
Послевоенные супы
И дети тихие Победы,
Перловой едоки крупы.
От металлической тарелки
Дрожит на своде слабый блик,
Где проступая сквозь побелки,
Апостольский склонился лик.

Что мне рассказывал апостол
Среди акаций и оград?
Сейчас припомнить всё непросто –

Про жизнь и смерть, и Сталинград.
Он словно бы сходил со свода,
В побелке, а скорей в пыли,
Ждал терпеливо и поодаль,
Держал в культишках костили.

И очень медленно, достойно
Ел принесённый мною хлеб,
И на реку глядел покойно,
Как на течение судеб.

* * *

Заката ходят снегири,
Сугроб цифирью зачернили.
На Кировской душок ванили
Из магазина «Чай» сквозит.

И от зари до фонарей
Всего минут пятнадцать ходу,
И переулками в охоту
Кварталы снега прохожу.

А в них пустоты всех ушедших
Хранят былые очертанья,
Так небом, если рухнет зданье,
Хранится долго силуэт.

Зимний базар

Взметнись, базар, натужной глоткой,
Кажи метущийся кадык!
Ты обезличен,
Многолик,
Ты – крик,
Молочная молодка,
«Аршин» гранёный,
Вобла, водка...
Ты под гармонику шалишь,
И ртами немо шевелишь.

Твой говор где-то в небесах,
Со снегом выющийся клубами,
Так грянул гирей на весах:
– Не нравится? Живите сами!

Ори, базар,
Ходи, роись,
Ты – жизнь,
Ты плод и смех, и птица,
И алкоголик, и больница,
И побелевшие грузины...

Но что прекраснее зимы,
В которой скачут апельсины,
А горы яблок и хурмы
Стоят, как девушки
И храмы?

Преображение

В таверне отворились с шумом двери...

Из песенок детства

В таверне суета и шум, и гам,
Обслуги безразличие и хамство,
И пальмы в пыльных кадках по углам
Венчают это злачное пространство.

Но с жизнью примиряет натюрморт:
Дрянцо-винцо в копеечном бокале,
Нож, указующий на море, порт
Вдруг, отразив светило, засверкали.

И спектр стекла на скатерти, металл,
Отбросивший мерцающие пики, –
Неслышный праздник, вечный карнавал
В связи со светом, таинством великим.

Элегия

Как происходят вечера?
Луна восходит, как вчера
Она садится на карниз
И, ноги свесив, смотрит вниз,
На город.

С балконов свесился народ –
Поёт и курит, и кричит.
А вот совсем наоборот –
Он не поёт, она молчит –
Чета, считают кирпичи,
Раскиданные у ворот.

Мужчина в комнату идёт.
Включает скачущий экран –
И голос диктора звенит –
И Ватикан,
И клан,
И план...
Бульдозер
И подъёмный кран.
На рычагах весёлый парень

Играет словно на гитаре,
А во дворе кричит татарин:
– Ай, Сталин, ай, товарищ Сталин,
Ты на кого же нас оставил?

И свадьба –
«Горько!» с потолка,
Как штукатурка гопака.
И снова – «Горько!»,
После – полька,
А справа – восемнадцать арий,
Полёт валькирий или фурий –
Девичник профсоюзных дам.

И гаснут истины реклам,
И под татарские заклятья
Плынут полночные кровати,
Скрипят уключины тахты.
И злоба нищеты, тщеты
Нисходит в чрева
Под музыку любви напева.

Пайка

В стране моей не велено грустить.
Поэзия так радостно бездумна,
Что средь веселья хочется спросить:
– Подружка, а ты, часом, не безумна?

Есть времена, в которые не быть,
Чем вкупе славословить шумно –
Спасение. Да что там говорить!
Гуляй, колпак! Бей, колоколец бубна!

Кто выбирает хлеб – получит хлеб,
Не выбравший его – нелеп,
Ворона белая, и головою вертит.

Ты пайку получи свою, едок,
А птичий труп запороши, снежок, –
Дружок и спутник безымянной смерти.

Останкино-47

Травой густопоросший двор,
Полурассыпанный забор,
Крапива и бузинный кустик,
И, воспевая захолустье,
Звучит почти античный хор –

Сонм жирных и недвижных мух.
И кот крадётся, но петух
Взлететь успеет, кукарекнув,
И от заката дом ослепнув,
В сиренях тонет – нем и глух.

Мешая отойти ко сну,
Его пугают тишину
Шаги недавнего солдата,
Идущего с мехкомбината
Варить картошку, ждать жену.

За ним и прочий здешний люд,
Закончив на сегодня труд,
Заходит в дом о двух крылечках,
О четырёх голландских печках –
Восьми семей живой уют.

Московский запах

не знаю – ты помнишь? – а впрочем неважно
я даже не знаю жива ль и где ты вообще
находишься –
 занесло на Колхозную делом бумажным –
 справка выписка что ли – а за ними
 куда как находишься

вдруг запах ударил – и словно собаку
 повело закружило – из жизни которой
 меня окликают? –
 и пешеходы спешащие сзади и сбоку
 что-то бурчат недовольно и локтями
 подталкивают

запах был всё острей превращаясь
 в эпоху
 заволглых дверей и домов окраины
 деревянных
 в рыжий свет абажура и чёрного хлеба
 краюху
 и горбатился толем сараев дровяных
 и дырявых

там любовь отпускала Тамарка –
белокурая курва –
за деньгу за продукты и мануфактуру –
власти шли за бесплатно –
участковый – тот первый
а за ним и помельче начальство –
князья жилконторы

запах вдруг превращался в хриплую песнь
патефонную
в Первое мая и танцы стол клеёнчатый
водку сучковую –
Рио-Рита – на протезе Ефремыч отплясывал
со своею законною
а Тамарка хмеля от чарки всё подмаргивала
участковому

вор в законе Валера грозил ей – водил подбородком
бухгалтерша Женя – кликуша – зашлась
и задёргалась в трансе –
Сталин! Сталин родной! –
заверещала эта карлица и уродка
сделал ручкой Валера Тамарке –
поклонился – и восвояси

не знаю – ты помнишь? – а впрочем неважно –
как на свалке там за сарайми –
в тьмище прогорклой –
возвращаясь с катка – как морозно нам было
и страшно –

белое тело тамаркино
с перерезанным чёрным горлом

ах каток! – огоньки – падэкатры звенят
с падэспанью –
как ты билась без слёз прижимаясь губами-коростой
как тебя оттолкнул задыхаясь
твоей или тёткиной шалью

этот запах глотая –
ненавистно-родной – нищеты и сиротства

* * *

История – труд странный скарабея,
Катается, растёт дерьяма кусок,
И в потном классе слышится звонок –
Конец урока и Помпея Гнея.

И кесарь в вестибюле, бронзовея
От маршальской звезды и до сапог,
Конечно, лучше выдумать не мог,
Когда сыграл в витрину мавзолея.

Но года три ещё до той поры,
Как чердаки и задние дворы
Откроют путь любителям ко гробу.

И трупы школяров и детворы –
Послушные народные дары –
Набывают и мёртвую его утробу.

* * *

Трубы фабричной
Взлёт и соло.
И лета лень,
И женский голос
В любви, томленье и тоске,
От немоты на волоске,
Стихает
В радостных слезах.
Июнь! –
Раскат на сорок «Ах!» –
Размах цветеня и удачи,
Разлив листвы, и ветер скачет,
Дразня, на облаке верхом,
Платформ дощатых зáпахом.

Любовь

Я ждал, я предугадывал тебя.
Наверно так слепые от рожденья
на свет идут, открыв ладони и скорбя.
О, лепет пальцев – бег прикосновенья!

Пустыни тьмы, как сны без снов,
на ощупь мир – бездарная скульптура,
скрипит каркас его основ –
без музыки клавиатура.

Какая мука – где-то свет –
знать это и не знать прозренья
и день, и год, и много лет...
О, лепет пальцев – бег прикосновенья!

Чистопрудный бульвар

1

Весна в моем микрорайоне,
На микрородине весна,
На чистопрудном водоёме
Белеют птичьи паруса.
В моей Венеции весна,
И «Колизей»* – Палаццо дожей –
В воде тревожит небеса,
А небеса сквозняк тревожит.

**Здание бывшего кинотеатра.
Ныне – театр «Современник».*

2

У каждого – свой Гефсиманский сад.
Мой – на бульваре Чистопрудном,
Когда я на скамью, усевшись трудно,
В себя свой обращаю взгляд.
Летят слова, картины невпопад –
То скачет жизнь моя нелепо,
И строки эти – ненадёжный слепок –
Едва ли правду правдой повторят.

3

Смотри, стекает лето в Лету,
И не скажу, что неохотно –
В полтона холодней по цвету
Цветы, кусты, хотя не холодно.
От промельков стрижей надсадных
Мерцает неба зеленца,
И звуки гулкие в парадных,
Послушай, глуша преломляются.

* * *

C. Г.

Когда душа со мной прощалась,
Беззвучно плакала она.
Мне принесли друзья вина,
Когда душа со мной прощалась.
А я смотрел в проём окна,
И в нём столица помещалась.
Когда душа со мной прощалась,
Беззвучно плакала она.

Ах, женский плач! Невыносимо.
Я по натуре мягкосерд.
По телу полон, мастью сед.
А вот мой друг похож на мима.

Но строг, в очках, велеречив:
— Пойми, необходим разрыв, —
Он говорил, — всё объяснимо:

Есть быт — критичности порог.
С душой своей ты не критичен.
Ты нашим веком ограничен,
С душой в нём душно, видит Бог.

А, впрочем, можешь с ней остаться,
Коль трудно с ней тебе расстаться.
Я говорил вам – друг мой строг.

Мой строгий друг открыл вино.
Второй смотрел на свет стаканы,
Насвистывая непрестанно.
Мой строгий друг открыл вино.
Он так серьёзен, что смешно,
Но я выслушивать не стану.
Мой строгий друг открыл вино,
Второй смотрел на свет стаканы.

Лебедь

Сначала это белое пятно
Сетчатке чуждо и определенью,
Но медлит взгляд, свет чередуя с тенью,
И птицей дремлющей становится оно.

Взгляд делает вполне доступной вам
Грань тёмную меж телом и волною,
Где облако, плывущее по зною,
По отражённым заплясало деревам.

Тень лебедя и ярче, и мощней
Мерцающего облака и веток,
Вобравшая весь летний сонм расцветок,
Но беломраморность преобладает в ней.

Едва ли вам видны смещенья масс
Воды и пробудившегося тела,
Но вот – высоко голова взлетела,
Пронзительно горит её змеиный глаз.

И лебедь разрывает зелень вод,
Как будто рвёт земное притяжение,
Но нет ещё полёта, есть движенье,
Где, словно в коконе, и заключён полёт.

И телу так неловко-тяжело,
Так неуклюжи первые усилия,
Как мокрое бельё хлопочут крылья,
Но шею хищную спрямило и свело.

Густеет синий воздух у крыла,
Даёт необходимую опору
Паренью по свободному простору,
И, кажется, душа свободу обрела.

Белое на белом

В дурмане белом, сне ли белом –
Черёмуха. Наркоз. Букет.

Плынут её соцветий стрелы,
Для белизны предела нет.
Она клубится белой вазой,
Салфеткой, облаком, стеной,

Горячкой, родовой проказой
И стынет белой тишиной.
Сгустившись до исчезновенья,
Растаявши до густоты,
Воспроизводит на мгновенье
Ушедших слабые черты.

Чьи лица стёрты белым снегом?
И чей пурга своим пробегом
Из дальней дали и забвенья
Доносит шёпот? Или пенье?
Чьи лица белые на белом
Слежу я взглядом оробелым?

Я никого не узнаю.
Я никого из них не знаю.
И в белом мареве стою,

И книгу белую листаю.
И в ней стараюсь прочитать,
Что бывшее небывшим стало,
Что справка справна и печать,
И страха нет в дверях вокзала.

Пиво-воды

В пивной, как вой,
Клубятся мухи.
Бухой выходит головой.
Дерутся пьяные марухи,
И рухнул кто-то неживой.

В истоме отведённый локоть,
Блаженства соловей в гортани –
Пивец, напившись, будет плакать,
Петь песни горечи и рвани.

Вот добродушие пивное
Цветёт на масляных щеках,
На лицах у других – иное:
Тут – злость, там – пакость,
Просто страх.

А этот – он поверх голов
Летит над трапезой столов,
Кричит:
– Равны,
Сильны,
Страны...

И рвёт рубаху на груди.

Но сотрапезники не смотрят.

Он воет и орёт:
– Гляди!

Но сотрапезники не смотрят.

Тот вспоминает неудачи,
Изрывшие его чело,
И плачет зло,
И злобой платит
Справляющим лихой балет,
Гуляющим по кружке мухам,
Которых давит на столе
И улыбается их мукам.

Из пенсионного бюджета
У старика торчит манжета.
Второй не видно. Видно, нет.
– Да ты, старик, неисправим!
Эсер? Кадет?
– Мон шер ами, – он тихо молвил, –
Господа,
Всё так же мир неандертален,
Хотя был Пушкин гениален,
И Кеннеди хороший парень,
Да и де Голь не так уж плох,
Не говоря о том, что Блок

Весьма изысканно лиричен
И поэтичен, и мистичен,
А также космос
И прогресс,
И райсовет,
И райсобес...

Бал

В любовных сердце упадает стонах,
В музыке вальса, локонах, поклонах;
Гвардеец брав, и князь хорош – ей-ей! –
И маменьки глядят в лорнет на оных,
Загадывая дочечкам мужей.

Ну, что ж, не зван – лишь по усам текло.
С молодых ногтей запомнились зело –
Ещё в школьстве – проза и преданья,
Поэзии «страданья-упованья»,
Дворянских гнёзд безумье и тепло.

Вальсируют легко в стране недужной
Виновники её паденья – каждый...
В Берлине допиваю свой бокал.
Затих оркестр. Короче – кончен бал.

* * *

По Фридрихштрассе веет сквознячок –
Молоденький, балтийский, голенастый –
Того гляди, загонит день ненастный
В избу валдайскую, где бáлует сверчок,
Где в дверь стучится Коля-дурачок,
Сосед и гость, в связи с похмельем, частый,
Дрожащий и доверчиво-глазастый,
В руках стакан и стрелочка-лучок.

Брошенная деревня

Испуг рождала тишина
средь разнотравья, зноя, лета...
Во сне так, убегая сна,
ещё не знаешь, явь ли это –
звезда падучая, комета
пересекает небосвод:
чужая жизнь, прервавшись где-то,
тебе покоя не даёт.

Но это явь: изба, стена,
смола, светилом разогрета;
черны глазницы – два окна,
подкова на двери – примета
удачи, но другая мета
мрачила здесь за родом род –
народ, отпавший от Завета,
тебе покоя не даёт.

Беда больней обнажена
в лучах полуденного света –
деревня мёртвая страшна –
чугун, костыль, рядно, газета,
а там, над крышей сельсовета

флаг, осеняющий исход...
И кукла с вышивкою «Света»
тебе покоя не даёт.

И ни ответа, ни привета,
лишь тройки бешеный разлёт –
созданье мрачного поэта
тебе покоя не даёт.

Кебаб на Фридрихштрассе

Наверно турок, может быть, араб
Сооружает вдумчиво кебаб –
В плепорции и соусы, и зелень –
Ах, запахи! – и, коли ты не болен,
Возьми мерзавчик, в нём всего сто грамм –
Он ключик золотой к иным мирам,
А этому, тем паче, впору,
И разговоров будет, разговоров...

И приступили мы, благословясь
Реченьями «Будь здрав!» и «Понеслась!»,
И я, неисправимый звуколюб,
Услышал – буль! – коснулась водка губ,
На что кебабщик не повёл и бровью,
А лишь вздохнул и молвил: «На здоровье!».
Еврей из Риги крикнул: «Не могу!
Ты тоже русский?».
– Русский.
Из Баку

Пьеса игры

Судьба летит под крик «Ура!»
В тартара – ры
И даже – ра.
Игра,
Игру,
Игрой,
Игры!
– А мне – хоры...

Летят шары,
Сшибаясь костяными лбами,
И дыры в душах от жары,
От распри меж материками.

Несутся по полю шары,
Сцепленьем щёлкают вагоны –
На стыках – ох! –
И стоны –
«Ах,
Ты, Марусечка...» –
Магнитофоны.
Транзистор где-то в животах,
В аппендиксе скорбеет Бах,

А чрево медленно вещает
И завтра дождик обещает.
Совсем другое сообщает,
Танця, столбик мошкарь:
Игры...
Игры – ы...!

Экран высвечивает юкры –
Ног женских плещут осетры,
Звериный вдох и слабый выкрик...
– Вам шах –
Же-три!
Игры, игры – ы!
И все –
И сед, и млад,
Сосед – науки кандидат –
Кричат:
– Даздрабанзавиват!

Финал иль середина пьесы –
Не всё ль равно? –
И стюардесса,
Красой блистая, словно смерть,
Идёт в халатике повесить,
Немея, лифчик на забор.

Две чаши ветерок мотает,
Петлёю – нежная тесьма...
Как поиграли мы, Майданек?
Как поиграли, Колыма?

И над толпой, спешащей мимо,
Трепещет, рвётся к небесам
И просыхает символ мира,
Расколотого пополам.

* * *

Дни снега на Берлине редки.
Вид бедно оснежённой ветки
Как бы «Ay!» родимых мест,
И обступают вновь окрест
Сугробы, и кружится замять...
Дырявая, но всё же память
Ведёт в Москву, где вас, друзья,
Вас, мёртвых, догоняю я.

А город стал чужим и чуждым –
Что искушает он без нужды?
Его и вас мне не вернуть.
Немецкий сон собирает в путь,
Шмонает польская граница,
И вот – холопская столица –
Тьма, темень и подъёмный кран,
И страх, и смех, и Тёплый стан.

Сретенка

Памяти М.А. и М.Р.

Давно, вчера, насупротив «Урана»,
Сей кинотеатр, кажется, снесён,
Пивной сооружён был павильон –
Советских служащих уютная нирвана,
Где влага била в кружки из-под крана,
Мы, три товарища, чуть старше — он
/Пол-литра извлекалась из кармана:/
– Культ... И культур... – гудели в унисон.

И вот легли на сон или уснули –
Тот, старший, высоко, в Гиват Шауле.*
Один из троицы – в очках и рыжий –
Истаял, как туман, в цветном Париже,
Хотя ведь только что отпил из стакана'
И подмигнул буфетчице. Она...

*Кладбище в Иерусалиме.

Переложение псалма

Позабыт в сердцах словно мёртвый
И кочую монетой стёртой
И тускнею и убываю
На Господа уповаю!

Так темно и так тесно мне
В белоснежно-бескрайней стране
Где я жизнь как срок отбываю
На Господа уповаю!

Я согбен я совсем поник
Ни молитва ни стон ни крик
Не доходят... Почто – не знаю
На Господа уповаю!

Я троюсь с алкашней обрыдлой
И на фене ботаю быдла
А Твои слова – забываю...
На Господа уповаю!

* * *

Berlin.

Bier-lin.

Bär-lin.

И лин(и я) форсажа розовеет
В закатной Шпрее.

А над нею

Осенний лист кленовый летит,

Покачиваясь, в зенит,

Жёл(той)

Шестиугольной

Звездою реет

В закатной Шпрее.

Bär-lin

Bier-lin.

Berlin.

Восточный орнамент

Борису Волисону

*Накануне похода, по слову прорицателя,
шах принёс в жертву во имя победы свою
любимую наложницу красавицу Сурайю.*

Рука суха, раскосый взгляд –
Горят неверные, горят,
Дымится кровь на плитах зданий...
Но к торжеству примешан яд –
Ты, Сурайя, всего желанней!

– Эй, звездочёт! И ты, мудрец...
Да замолчите, наконец!
Что мне до ваших тёмных знаний?
И что мне истины венец?
Ты, Сурайя, всего желанней!

И песен, плясок сладкий плен
Не застята белезны колен,
Бледнеет слог певца преданий,
И пир, и казнь – всё жалкий тлен –
Ты, Сурайя, всего желанней!

Сменяет шахматы вино:
Хмель и похмелье – всё одно,
И не избыть воспоминаний,
И из под ног уходит твердь...
Иди, ты мне желанна, смерть,
Но Сурайя всего желанней!

* * *

И прибыл друг мой в Иерушалáим,
Сменил «Будь здрав!» на местное «Лехаим!»,
И если граппу починает в паре,
То наливают каждый в свой стакан.
И видится ему, слезою осиян,
Стакан на ветке в Сретенском бульваре.

Он восседает в шалаше в Суккот,
Задумчивый и никого не ждёт.
Того гляди, какой-то сукин кот
Придёт,
Собьёт музыку, сгинет фраза...
И вдруг – аж оторопь берёт! –
Натужно воет и орёт,
Взобравшийся на минарет
Горластый муэдзин,
Зараза.

Во граде происходят дни Творенья,
В ограде он кроит стихотворенья.
Неспешно отложив своё стилю,
Он видит: Трубная от зноя мреет,
Трамвай гремит от Чистых до Гило,
И времени песок хамсином веет.

Поэма моста

Случилось что-то за окном:
стояла ель, а стала сном.
Значенье сна я понял вдруг...
Туман, сгустившийся вокруг,
размыл посёлок, перелесок;
луч фонаря наискосок
прошёл мир влажный и белёсый
и в смутных листьях изнемог...
Я понял: сон сей неспроста,
он должен был ко мне явиться –
здесь не способности провидца,
а жажда связи и моста.

И предо мною он восстал.
Его железная верста
в ушедшем времени плыла
и временем самим была.
Моста в росе дымились фермы,
как уходящие холмы,
и робко шаг я сделал первый
к ступеням, выплывшим из тьмы.
Увиделась вернее мне

постыдность стылого сиротства,
когда, как эхо первородства,
мост раскатился в тишине.

И город впереди синел.
В нем кто-то так по-русски пел,
что я прикинул перевод:
язык все тот же, да не тот.
В нем убегающая тайна,
в нем интонация вольна,
строка легка, как бы случайна,
а потому-то и верна;
и ворожба забытых слов,
романс цыганский и герани.
И ночь бела. В пустынной рани
стою я у Пяти углов.

Здесь до Коломенской – рукой...
Но не нарушу я покой
уснувшей зàполночь родни.
Какие сны глядят они?
А скоро грянут перемены.
И потому заменены
мне от рожденья эти стены
московским бытом и иным.
Но их присутствие всегда
во мне, дарованное свыше,
и слышу, как волной колышет
и дышит невская вода.

Мост неспроста привёл сюда.
Есть во вселенной города,
где голоса пыльцу хранит
гранит и просто общий вид.
И песенка, коснувшись камня,
по улицам ведёт меня
и манит будущим недавним
в рассвете канувшего дня.

Ломберный стол

/Из апокрифов биографии/

Чуть потемневшей бронзой обрамлён,
И инкрустация цветами вьётся –
Морозцем Петербурга пахнет он –
В ночи аукнет – тотчас отзовётся

Квартира игрока. Поэт и солдафон,
Чей бравый ус торчит, дрожит, смеётся,
И дама бита... «Боже! Фикельмон!».
– Нет, нет. Увольте! – и не остаётся.

И санок бег по снежной мостовой.
Минул швейцара. Пыльно под софой.
Что будет стоить это «vis a vis»

Господь лишь знает, но... благословляет.
И русская словесность пир любви
В особняке посланника спрятывает.

Октябрь уж наступил...

«Куда ушёл ваш китайчонок Ли?»

Из песенок А. Вертиńskiego

Как низко чайник наклонён над плоскостью стола,
И китайчонок Ли ведёт понурого вола,
И на фарфоре голубом колеблется тростник...
Откуда-то из-за Невы неясный звук возник.
Октябрь уж наступил, и лёд – на луже во дворе,
Лицо хозяйки самовар морочит в серебре;
В столовой сумрак, жар печей и небольшой угар,
И долго стонет и дрожит часов сухой удар.

Откусает мужчина чай и отшвырнёт шлафрок,
И затрещит автомобиль, и закричит рожок.
Хлопки метущейся пальбы летят издалека –
Когда приходит к власти смерть, то эта власть крепка.
По убиенным на Руси не принято тужить,
И даже китайчонок Ли пойдёт ЧК служить.
Хозяйка разливает чай, красива и смугла,
И низко чайник наклонён над плоскостью стола.

**Дело № 17394
Унквд СССР
по Краснодарскому краю**

*Памяти
Константина Михайловича
Кузнецова*

Ткаченко — лейтенант, педант и дока,
Возможно, жив служивый до сих пор,
На жирной пенсии седой бугор —
«Шпионам польским» всяко лыко в строку

Вставлял, мотал расстрельный приговор,
Ткал полотно и сеть кидал широ́ко:
В неё мой дед попал в мгновенье ока —
Худой и с тросточкой на фоне гор,

Улыбчивый на пожелтевшем фото.
А дальше — исполнителей работа,
Подвал да желобок для стока,
Где мужички с похмелья сладят кару,
Когда трамвай и алый свет с востока
Пойдут гулять-бренчать по Краснодару.

Август шестьдесят восьмого

Всё меньше свидетелей жизни моей.
Порою не знаешь – да было ли это?
Кто вспомнит со мною постыдное лето
Навета, налёта? А в общем хоккей!
И в небе плаката чета голубей,
А небо плаката куда голубей...
Всё меньше свидетелей жизни моей.

Пастораль

Он вина достать не смог.
Есть в сельмаге только сок.
Сок томатный,
Сок приятный –
Будет заворот кишок.
Он вина достать не смог.
Лягут, глядя в потолок.
Без вина какой же прок
Улыбаться,
Обниматься
И толкать друг друга в бок?
Лягут, глядя в потолок.

* * *

Там, где размах белья,
Бараки и сатины –
Немая быль и я
Нешадно двуедины.

Там, где размах рубах
Смешался с облаками,
Где горечь на губах
Я считывал губами,

Среди костров ботвы
Гремит электропоезд –
То дымкою листвы,
То полем стать готовясь.

* * *

Ю.К.

Тщеты своей улыбчивый оскал
Мне мир преподавал самозабвенно –
То в бешенстве Кавказом он сверкал,
То в прачечной стихал водою пенной.

Он удивлял, пьянил, ворожбовал,
Пытал своею красотою тленной.
Я горечь совершенства узнавал
По некому присутствию – мгновенно:

Смерть – равный гость на пире бытия.
Так дырбалызним, смертынька моя,
Под «Городской» сырок за детским садом,

Поговорим за жисть в немой стране...
Что? Истина? Возможно и в вине,
Но всегда с тобой, подруга, рядом.

Стадион «Локомотив»

Съезжаю с квартиры
В распутьцу марта.
Чужая жилплощадь –
Битая карта!
У края бездомья
Повисло окно –
Раскат пассажирского,
Стук домино.
В ночи манёвровых –
Жальливо – гудки,
Маразмом объятые
Старики.
Их час умиранья,
Качнув фонарём,
Горит в колее
Со звездою вдвоём.
Тот адрес забыт,
Но в ушах до сих пор
Тазами гремит
Жития коридор.

Утро туманное 7-го ноября

Печальный дождь, как жизнь в стране
Родимой, где не забалуешь,
Что сумерками утро жалуешь
И бродишь сумраком во мне?

Часть улицы плывёт в окне,
И алые подтёки транспаранта,
Как промельки трамвая, транспорта,
О казнях помнящего, о войне.

Открытка

Ю. М.

Раб государственный – рабу своей судьбы –
Зашёл на Кировской тебе черкнуть открытку...
Что как... И что зачем... Вот если бы кабы...
Я расстояние переношу, как пытку.

С тех пор, как отчинили нам калитку,
И с Южинского вдаль направил ты стопы,
На станции Дзержинского сменили плитку,
А на Колхозной перекрасили столбы.

Столица хорошеет и пустеет. Слова
Бывает некому сказать. Неужто снова,
И значит никогда, по Чистым покружив,

Спустившись к Трубной, у ларька пивного
Не встречу я тебя? Ну как там *vita nova*?
Здесь все по-старому и я как будто жив.

Чердаки любви

Подъезда стихи,
Кошачьи глаза,
Вдогонку гремит
Молодая гроза.
Как шатки перила,
Как тонко звенят,
И звуки металла
Сердца леденят.
Мы в мире ночном
Над ареной пустой,
Над городом спящим,
Скользящей стопой
По маршам крутым
Летим, и чердак
Дверь отворяет
В полуночный мрак.
И кошки, как будто
Хор а капелла,
И ты, освещённая
Молнией белой.

Поэма снега

Москва и снег, и кутерьма,
сурьма антенн, воронья тьма,
дома повиты белым сном,
и утро белое на белом
своим крылом заиндевелым
маячит за моим окном
и превращается в буревестника,
призывающего, помнится, бурю.

Что ж, с романтизмом я знаком,
и шалости его, и бредни
висят, как старый плащ, в передней.
Критически реален душ –
соседка хоркает счастливо,
и соцреален, и к тому же
орёт клозет бачком для слива
воды ли, крови –
в современных синонимах чёрт ногу сломит.

С похмелья скучно и тоскливо.
И взгляда полусонный ход
отметил некие извины
на скатерти – проливы пива;

стул, чайник, чашка – обиход
типичный и потому
для пеана хвалебного малоинтересный.

Но вот нежданный поворот
то ль зрения, а может утра –
то заиграл рожок как будто –
игольчатость и краткость нот.
То ли кристалл ничтожно малый
вдруг от граната до опала
в заснеженной голубизне
луч солнца отразил в окне...
Этрусской вазой чашка стала,
а чайник – постулатом чань,
и тень промелькнула
идущего под зонтом Ду Фу либо Ли Бо.

Москва и снег. В такую рань
кто перепутал реквизит
и век? И вечностью сквозит.
Тростник звучит, вздыхают травы.
Крамолой тихою несмело
крадётся мысль: «Не все сгорело,
не все погибло от потравы...»
Как утешительно: есть травы,
а сегодня снег, вороны
и вообще очень хорошая погода.

* * *

Мне этот мир преподаёт урок
В той части, называемой Россией,
Где бред истории особенно мне дорог –
Иван был Грозным, Тёмным был Василий.

Слагается, латается закон,
Как только сложат, им же и приложат,
И плащ – куда как тонок! – ненадёжный кокон,
И страх шуршит, и ледeneет кожа.

Недаром Рим как центр всея земли
Прозрел клиент спецпсихбольниц Чедаев –
То ль подлечить его втихую не сумели,
То ль просто меньше было негодяев.

А третий Рим утратил свой приход
Задолго до того как храмы поскосили –
Менялся на мундире цвет лампас и ворот,
Иван стал грозным, тёмным стал Василий.

Плащёк сквозит, охранных грамот нет,
И запросто любого здесь похерить –
Здесь воздух одичал, окрест горелым тянет,
И впрямь – в Россию можно только верить.

Одна лафа – строиться за пивной.
С Василием нас двое, третий – Ваня,
И водки долбанёт душа в столице душной
И повторит, коль дозы недостанет.

Как в лицах современников темно!
Шу-шу. И ни гу-гу. Кого пришили?
Кого? Зачем? Когда? Давно или недавно?
Василия Иван? Ивана ли Василий?

Кривоколенный переулок

В переулочной тиши
Удобно очень стариться.
Снег идёт, бежит и валится,
И окрест нет ни души.
Выйду, сон сотру со лба,
Тихо в мире и безветренно,
Снег большой летает медленно
У фонарного столба.
Ах, снежинки ломкий бег,
Зимней бабочки круженье! –
Смерти лёгкое движенье,
Созидающее снег.
И смотрю – в который раз.
Все же это представленье
Вызывает удивленье,
Останавливает глаз.

Официантка общепита

Она парит в парах похлёбок,
Она летит а ля Шагал,
И ноги брызжут из под юбок,
Пол стонет в такт её шагам.

Майоль ваял её Помоной,
Отъяв тарелки с гуляшом,
Отбросив фартучек зелёный,
И совершенно нагишом.

Кустодиев плеча и пястья,
Мизинчик томный утолстит,
Напишет самовар и счастье,
Кота и ямочки ланит.

А Рубенс так её напишет:
Средь зелени сей габарит
Вина янтарного и вишен
Вальяжно дышит и лежит.

Она сработана на славу,
Цирцея отроческих снов,
И всласть справляет с ней забаву
Лихой райвоенком Брунов.

Тост

*К портрету Л. В. Никитиной
кисти Н. П. Богданова-Бельского*

Всё женщины... Я поминаю дам.
Не говорю «Прекрасных»... Как-то вам
в погостах ленинградских спится,
на кладбищах Парижа, Рима, Ниццы
и по сибирским ямам и углам?

Я пью за вас, блистательные тени,
за вальс, за ваши руки и колени,
и гордость длинношеих лебедей,
за ту осанку вольную людей,
которая не подлежит подмене.

Вы были несравненны, видит Бог.
Когда взводился равенства курок,
вы не равнялись – присно и вовеки –
любой пустяк, корсетный ваш снурок,
для равенства тяжеле Каабы Мекки.

Живущий неравним. Лишь неживые
в эпохи смутные и ножевые –
суть равенство и чистота доктрин.

Что вам пенять за хрупкость ваших спин,
когда мужицкие хрустели выи.

Живущий неравним. И потому мертвы,
вы – воздух, мотыльки Пальмиры, вы,
загинувшие в ней, в чужих столицах,
и отзвук ваших лиц напрасно в лицах
лимитно-вырожденческой Москвы

или провинции Петрова града
отыскивать сегодня... И не надо,
и что там говорить... Я поминаю дам,
я поднимаю горестный «Агдам»*
за смех ваш и улыбку, мех наряда,

за сентимент и томность взгляда вдаль,
за гарус, парус, шляпку и вуаль,
слезу, сбежавшую на книгу, вздохи,
когда шарманщик вам хрюпел «Трансвааль»,
прозрев насильтственный финал эпохи.

* «Агдам» – дешёвый советский портвейн.

Вслед мотыльку

*Татьяне Соминской,
Степану Левину.*

Что однодневный, слабый мотылёк,
Фигуры эти хрупкого круженья,
Жизнь, сжатая до лёгкого мгновенья –
Пробег листвы, сухих стеблей кивок?
Подумать – он и я – один исток.
Он мреет над травой примятой,
Где танцем тем же мы распяты,
А день и век, и миг – всего лишь срок.

Что, однодневка, девочка моя,
Следишь тревожно за игрой полёта?
Должно быть, и от наших судеб что-то
Есть в той пыльце летящей бытия.
В какие он спешит края
Едва заметным сгустком плоти?
Что зашифровано в его полёте?
Нет связи абонентов «он» и «я»!

Что значит этот ломкий бег,
Ничтожного крыла паренье?
Молитва радости? Благодаренье

За день, исполненный труда и нег?
Куда прибьёт кровавый наш ковчег?
Ведь кажется, ещё одно усилие –
Вслед мотыльку меня поднимут крылья,
И я тебе отвечу, человек.

Картины

Сонет с вариантами

Памяти художника Виктора Зарубина

I

В растресканном багете золотом,
Как будто бы во сне – и сами в спячке –
Вдруг возникают старые рыбачки,
Цветочницы и море за мостом,

Баркасы, и на берегу крутом
В чепцах чухонки, сгорбленные прачки,
Бельё везут на деревянной тачке,
И, как сосна, белеет в соснах дом.

Там дамы. Музыка. Мужи во фраках.
Крокет в саду. И англичанин в крагах –
Их тени сохранил фотоальбом.

Все без могил уйдут, сгниют в бараках –
Ты, гимназисточка, ты, прапор в баках, –
Тень близкой смерти на лице любом.

II

В растресканном багете золотом –
С зонтами барышни, в платках простачки,
Наездники, закончившие скачки,
Цветастый, словно клумба, ипподром.

Фонарщик влез на столб. Внизу гуртом
К вечере шествуют и, точно квочки,
Судачат маменьки, болтают дочки,
И море плещет в сумраке густом.

И на Москве, лишь за угол сверну,
В гулянии народном, пенье, пьянстве
Вдруг слышу звук рисованной волны.

Стою, как вкопанный, – ни тпру, ни ну! –
Посредь столицы в «праздничном убранстве»
Ввиду труда, единства и весны.

I

III

В растресканном багете золотом –
Бриз, мачты яхт – и в разнобой, и в качке;
Две дамы на мостках и их собачки –
Бесхвостая, а слева – та с хвостом.

Жасмин в цвету. И за его кустом
В любовной и томительной горячке
Хлюст в канотье и кипенной сорочке
К девице движется с открытым ртом.

Картин тех нет, да и самой стены –
Эпоха провалилась за обои,
Но почему-то не даёт покоя
В быту печальной и глухой страны
Тот живописный бег и звук волны,
Белевший круглым гребешком прибоя.

II

* * *

Взять саквояж – и двинуть из Руси,
Допустим, в Рим, а, может быть, и в Ниццу,
По зимнику унылому трусить,
Морозным утром пересечь границу,

Дремать и грезить – купола Петра
И говор италийского базара,
Спросонья что-то накропать в тетрадь,
Испить глинтвейн на берегах Изара.

Здесь жизнь весьма удобна и легка –
Масс* пенится, и метхены воркуют...
– Ну как там? – спросишь, встретив земляка.
– Воруют, – он ответствует, – воруют.

А что до «Мёртвых душ» – остатний том
Не ладится – своя едва живая! –
Оставим встречу с Музой на потом,
А там... А там пусть вывезет кривая!

Как говорит один учёный муж,
Лоза Господня на Руси дичает –
За умервщленье, за растленье душ
Никто в Руси и Русь не отвечает.

Ну не даёт ответа, хоть сказись,
И тройка мчится вдаль угрюмо,
И слышу я родимое «Катись!...»
И дале мат – то ль пристава, то ль кума.

* *Масс – литровая пивная кружка.*

* * *

Ах, вокзальчик S-bana*
На Sonnenallee!
Он светлеет вдали,
Он в листве розовеет –
Что ж, Берлин притворяться
Москвою умеет.
А быть может сегодня
Я просто под банкой
И вокзальчик S-bana спутал с Таганкой?

* *S-ban – городская электричка.*

Немецкий паспорт

Офелия пила сырую воду,
А Виолетта пела о любви –
Прибыв надысь в Берлин из Навои,
Девицы здесь не делают погоду,

Но есть соображения свои:
К примеру – замуж выйти сходу;
На гόтов пожилых ведут охоту,
К венцу готовы, только позови.

Ну, да, не Гамлет. Нет. И не Альфред.
И всё-таки не худшие мужчины:
Курт выпить не дурак, но ортопед,
А Ганс на пенсии – плетёт корзины.

Офелия вино пьёт из пакета.
Поёт в церковном хоре Виолетта.

Алкоголь

Ты поворачиваешь око –
Бурун,
Баран,
Барак,
Барокко.

Полёты птиц – покой природы.
Но вот у деятельных лиц,
Как лампы, вспыхивают морды.
– Уби...! Убийц...! Милиц...
Онера!
– А девка прямо сущая Венера!
– А кто её?
Сверкает блиц.
И дуло – глаз пенсионера.

Премьера! –
Кукиш за спиной.
Но, впечатляя, остро ранит.
Негодованье в ресторане
Кончается слезой в пивной.
– До гения ещё бы малость...

– Случалось...
...чалось...
...алось...
..лось...

– Он помер.
– Да я сильно глух.
– ...Лучалось...
...чалось...
...алось...
– Жалость!
Большой талант – ан и потух.

Устраивают кошки спевки
С душою убиенной девки.
Сев полукругом за трубой,
Свирель меняют на гобой:
– Ах, тело было ей дано,
Поэту стало аналоем,
Красивое... А где оно?
Теперь печальное говно –
Его зовут культурным слоем.

Младенчески предсмертным воем
Клубятся кошки, исчезая,
И только лишь луна большая,
И ты, своё вращая око, –
Бурун,
Баран,
Барак,
Барокко.

Восточный Берлин в девяностом

Когда не прдохнуть в Берлине от сирени,
И пьян от запаха, едва ползёт закат,
Куда бы ни попал я – на восток ли, запад –
Встречаю мертвцевов блуждающие тени,
От ранних сумерек до полной темени
Они по улицам пустынным мельтешат.

То медленно бредут, не узнавая город,
И озираются в кварталах пустырей,
Где югендстиль царил, но буйствует репей,
В глазницах опустевших зданий тьма и холод,
Свинцовой оспою лик ангела исколот,
И прочно досками забит проём дверей.

Под тентами кафе и в кнайпах в этот вечер
Как бы спектакль даёт театр теневой:
Не сообщаясь совершенно с жизнью новой
/ Костюмы прошлого и лишь о прошлом речи /,
Герои пьесы цедят пиво дночи,
И поминально на столах мерцают свечи.

* * *

Памяти В.М.

Как не было. А мальчик был. Сосед.
Он в Телеграфном жил когда-то.
И бьют колокола у Стратилата,
И Сретенка к Трубе спешит покато,
И вот пустая будка автомата,
Но, знаю, не ответит абонент.

Как не было. Совсем немного лет
Моё отсутствие в Москве продлилось,
Но как она просела, изменилась.
Неужто Кировская мне приснилась?
Ну так, Мясницкая, скажи на милость,
Где он? Его и на Покровке нет.

Жизнь прожита, похожая на бред, –
Литавры, трубы, запах коммуналки,
И девочки в капроне – комсомолки –
Всё фартучки, косички, банты, чёлки –
Ни дать, ни взять – такие богомолки,
И в небеси еси вождя портрет.

Как не было. И не найду я след.
Запел, рванув гармонику, пьянчуга,
И тополиная слепая выюга
Сокрыла Чистый пруд, трамвай у круга,
Фигуру бронзового драматурга
И цветом белым застит белый свет.

Ты ещё читаешь Блока

То ли смерть, то ли девка шальная,
Появляешься из-за угла —
Эх, ширнутая, вдрызг распьяная,
Жизнь свою, как дитё, заспала.

По Кудамму с тобой вечерами
Я вожжаюсь и пью до утра,
Заневолен кнайпами-барами,
Кровью тягостной болен, сестра.

Это звон её: красные мальвы,
И за церковь — тропа под откос,
Где медичка в тюрбане марлевом
Пионера целует взасос.

Звон клубится эхом под сводом,
Старый Курский припомнит вокзал,
Как советский рассвет за городом
В тупике электричку застал.

Пахнут мальвы горькою прелью,
Страстью, мускусом, потом... Потом
Две лошадки — серая с белою —
Бьют подковами в утре пустом.

То ль на том, то ль на этом свете
Кучер, в белый обряженный фрак,
Любопытствует: «Вы поедите?»,
Трогая свадебный катафалк.

* * *

На улице, где припаркованы авто,
И сумрак зелени – с полотен Либермана,
От станции «Karlshorst» берлинского S-бана
По ходу поезда, примерно, метров сто,
Имею место быть. Жара.
Пью воду из-под крана.
На вешалке висит московское пальто.
А что касаемо моих соседей, то,
Поверьте, Иванов не лучше Вестермана.

Мне хочется себе ответить без обмана –
Каков же результат квартирного обмена,
Помимо знанья, что Арбат далековат?

И коммунальный быт восстанет непременно.
Летучею слезой его омою стены,
– Прости, — проговорю, — но жизнь – моя.
Privat!

На Brusendorfer музыка играет

Прекрасная немецкая нога, и вряд
Три пары стройных женских ног в России целой
Отыщется и посейчас... А сей снаряд,
Символ Германии технически умелой,

Парит над улицей в красе своей дебелой,
Над подоконником, магнитофоном над –
Хозяйка на игле, и что ей децибелы
И техномузыки кромешный ад.

Как говорится, я объят
Открывшимся... И паруса кипят.
До кнайпы не дойдя, стою балдея.

Берлинский медленный закат
Слепит и увлажняет взгляд...
Ну, здравствуй, Мурка! То бишь, Лорелея.

* * *

Б.А.

Не по крови родство,
По страсти,
По родственному зренью –
Сестру узнаю по запястью,
Неуловимому движенью,
По слову в гомоне толпы,
По сочлененью круглых гласных
Узнаю –
Ты певунья, ты
К переселенью душ причастна.

Заговори или запой –
Мне жизнь твоя и голос твой,
Как лес пустынно-величавый,
Когда всё видится насквозь:
Октябрь успокоил травы,
На паутине изморозь.
Не слышно в деревах возни,
Летящих листьев канители –
Так чисто в мире в эти дни
В преддверье снега и метелей.

Прощай, певунья, личный быт
Нас разведёт в свои пределы.
Кому-то первым предстоит
Остаться в дне осиротелом.
Прощай, певунья, за чертой
Спектакля светопреставленья
Услышу ли я голос твой
На длинных улицах забвенья?

* * *

Итак, дошёл я до Берлина.
Теперь в Берлине дохожу.
Нет, не скажу, что ностальгия там, ангина,
Просто в предчувствии финиша —
У каждого своя ниша.
Сижу себе на лавочке,
А мимо — смеются, проходят,
Как время проходит, — девочки.

Так по Шпрее проходит пароходик.

Сосед мотивчик под нос заводит,
Похоже «мой милый Августин».
Нет, не ностальгия или там сплин.
Просто время облака хороводит,
Солнце за Gedächtnis-кирху уводит,
И я слышу шествие времени.

И не говорю ему — повременй.

Чистые пруды

Едва узнал я девочку катка
В матроне тучной с цацкой Нефертити,
Кричавшей: «За картофель оплатите,
А после отходите от лотка!».

Ах, Бог мой, как она была легка,
Как вспыхивали канители нити –
Летящие московские снега,
Так далеко от нынешних событий.

* * *

В Крым скользнуть за стрижами, а там
К монастырским пойду я воротам,
К разорённым, заросшим садам,
Мусульман переживших воронам,

Кликать юность свою и твою,
И увидеть сквозь душную хвою,
Что с тобой я всё там же стою,
И скала припадает к прибою.

Но за кадром осталась тщета –
Вот одёжка, на вырост пошита! –
Ни кола, ни коня, ни щита,
Толчая, нищета общепита.

Жизнь давно миновала зенит –
Время гонит водицу и пенит,
И мой сон эту бухту хранит,
Где, обнявшись, лежат наши тени.

Посвящается Швейцарии

Да, что-то кончилось. И кошка под дождём.
Мы смерть ещё немного подождём
И соскользнём в пейзажик Тинторетто,
Где лето итальянское и Лета,
Или взлетим качелями Ватто,
Да только не про нас всё это.

А даден тихий съзмальства и цвет, и свет,
Тоскана и Прованс нейдут в сюжет,
Вся жизнь проехала на Северах,
И лица снег отбеливал и страх,
Метель кружилась в рыжих абажурах,
Москва мела по тротуарам прах.

Всё позабыто всеми. Ну и поделом.
А помнить — можно двинуться умом.
Я двинулся пока в столицу готов,
Здесь в питие чуть меньше оборотов,
Но с этим помириться я готов,
Когда собираюсь за грибами в Mählow.

Тебя какой-то пригласил концерн-интерн,
И ты, по слухам, обживаешь Берн,

А, может, Цюрих – всё звучит, как нéбыль,
Но в Цюрихе я был (а в Берне не был):
Река, что-то ещё, кораблик плыл,
Как раз в Прованс я через час и óбыл.

Откуда взялся он с вином «Шато-и-кем»,
В квадратном свитере советский Хем,
Тебя пленивший и твоих товарок
Тому назад годочеков эдак сорок?..
Да, жизнь кончается. У кошки мокрый бок.
Я канарейку шлю тебе в подарок.

* * *

Где фрау Мацке? Почто не встречаю?
Не то, что не чаю выпить с ней чаю,
Я с этой фрау был мало знаком –
Morgen! – приветствовал. Или кивком.
Почто не встречаю я маленькой Мацке
В стоптанных туфлях, в шляпке дурацкой?

Она умерла где-то ранней весной,
Соседка по дому – этаж надо мной.
Да кто мне она? Да и я ей не нужен.
Но чудится вдруг – стала улица ёже,
Дома что ли ниже, пиво пожиже.
Вот вроде она, но подходишь поближе...

Почто не хватает мне старенькой Мацке
В стоптанных туфлях, в шляпке дурацкой?

Московский сон

Всё вспыхах – в метро да из метро,
Универсам, троллейбус, ночь и снова
Метро, метро – и вдруг шагнуть в ретрó,
Упасть в пролётку – вывози, подкова!

С едва знакомой дамой пью ситро.
— Я влюблена в Бёрдслея! Это ново!
И дышит, и колышется перо —
Как с ней пройду по площади Свердлова?

Но что я потерял в глухой Москве?
– Эй, кучер, поспешай! Там, на Неве,
Как ранее рекли, моё гнездо.
Да только птиц, мадам, перестреляли.
Поедем в Царское Село! – и до:
Я вас любил. Любовь... И дале...

Поэма артистки

Гастроль испуганной певички
В Перми заборами пестрит.
К певичке подбёret отмычки
Провинциальный индивид.

Он зам. Зампредпотребсоюза.
Икрою ужин умастит,
И тайну скорого союза
Серёжками позолотит.
Она – стареющий подросток.
Оживлена. Увлечена
Приятным вечером. И просто
Приятно, если не одна.

Её любили, словно били –
Администратор, педагог,
По совместительству пожарник,
Поставить «до» так и не смог;
Скрипач ей преподал урок,
А скрипача сменил ударник.
Со знаньем дела и по-свойски,
Прикончив судака по-польски,
Зампред беседует по-светски,
Хотя в лице его – угрюмость.

Отпив шампанского глоток,
Она припоминает юность –
Каток, снежок,
Ледок искрится...

И музыка. И вот тогда
Она решила стать певицей
И не жалела никогда.

– А в Ленинграде, вы поверьте,
Мы встретились в одном концерте,
И руку мне пожал Муслим.
Ах, Магомаев! Обожаю!

– И я маслины уважаю.
Ну что же, можно и маслин.
Поднявшись утром раньше зама,
Спеша в концерт очередной,
Спросила весело и прямо:
– Вам скучно не было со мной?
Он промолчал. Слегка смущён:
Унижен он или польщён?

А вечером смотрел на сцену,
Косился в полутёмный зал,
И объяснить не мог подмену –
Он женщину не узнавал.

А та шекспировские страсти
В дурацкой песне рвёт в клочки,
И столько веры, столько счастья
Во взмахе маленькой руки.

Берлинский автобус

*Семёну Гринбергу,
автору книги стихотворений
«Иерусалимский автобус».*

Автобус номер сто пересечёт Берлин –
Маршрут от Запада /от Zoo/ до Востока –
Мелькнёт Курфюрстендамм, где молодой Набоков
Велопрогулками лелеял дар и сплин;

Минуется Потсдамерплац, затем рейхстаг,
Ловлю себя на том, что снова жду Покровку,
Сойти у скверика, но эту остановку
Я здесь ищу-свищу – не отыщу никак.

Но отыскал кафе, точнее пыль и прах,
Там, где витийствовал и буйствовал Бугаев —
Тургенева ушла, его пасла другая,
Умчавшаяся с ним в Москву на всех парах,

В тот город, где с тобой о строчках разговор
Мы давеча вели до смены декораций –
До иерусалимских сосен и акаций,
Берлинской стенки и стены альпийских гор.

По прошлому блукать, скажи, какой резон?
И прощевай, мой град – лубяная столица...
Была да сгинула. А это что за лица?
Эпоха кончилась. Открыт другой сезон.

Возможно бархатный. Но холод так же лют.
Движение, mein Herz! Ты в хедере со шваброй,
Я в Deutsche Schule с ней... Так вверх штандарты как бы!
Словесности родной из-за бугра салют.

Вчера раскладывал, как двинуться к тебе —
Пусть нынче дороги и дороги, и дороги! —
Чтоб снова поболтать о строфице и слоге,
Ну и насчёт цезуры на второй стопе.

А ветер вечности, увы, сильней сквозит,
С германским путаясь, в салон влетает,
И в дрёме транспортной жизнь, как пространство, тает,
Затвердевает таханою мерказит.*

* *Тахана мерказит /иврит/ —
центральная автобусная станция.*

* * *

Как вам сказать – старик? Нет, не старик.
Берлинец сей глядится моложаво –
Худ, жилист, и мотается кадык,
Когда рассказывает:
– Боже правый,
Смеялись и не зло...

К расправам
В отечестве своём я попривык.
Загадки нет. Рассейский есть мужик –
Полны костьми родимые канавы.
Но тут Европа... Эка недолга!
Три доброхота, два штурмовика
Смеются и не зло... Кто заступился?

Кто? Ватикан, валявший дурака?
Аме – ни бе, ни ме – рика?
Хрясь!-тианство есть любовь?
Еврей не шевелился.

* * *

А что касается сионских протоколов,
То в тексте оных множество проколов.
Практически и стилёк автор уволок –
Или авторы увели – у Мориса Жоли.
И это филологически, текстологически
Доказано. Даже юридически.
И приводить примеры куда как скучно –
Столько всего сказано-пересказано!
Короче: туфта выявлена
И, как говорится, научно.

Но вот незадача – упустили сгоряча
Глинку Дмитрия Григорьевича.
А этот Глинка – дипломат, фигура блестящая,
Да и личность стоящая – написал трактат,
Идеи коего или их сколы
Цветут, как левкои,
И украшают «Протоколы».

Дима или /зовите как хотите/ Митя
Нрав сызмальства имел мечтательный,
И чтобы вырос муж самостоятельный –
Вот уж пассаж здесь удивительный –

Мальчишку назидал родной сибирский дядя,
Поэт, прозаик, лицеист,
А также бывший пылкий декабрист.
Вот на его эпистолах и возрастал дитята —
Пропахших русскою тюрьмой.

Ах, Виленька! Ай, Кюхля! Бог ты мой.

Тиргартен

Над Тиргартеном в лёгкой берлинской лазури,
Сделав ножкой беспечной балетное па,
Ярким златом сусальным блещет до одури
На вершине взлетевшего в небо столпа

Ника, крылья распялив, с дудой и веночком —
Знак победы далёкой — над парком парит,
Где на площади круглой каменным вэнчиком —
Старики-полководцы, тройной габарит.

Ты ведь тоже крылат, но нечёсаны перья,
Ангел мой, и заплыл монголоидный лик,
Да и голос похмельно-глухой: «Ты поверь, я
Охраняю тебя. Так налил бы, мужик!

Денег нет ни копья и просрочена виза,
Пробирался как вор — не почти за труды —
В столь земную мечту о садах парадиза,
В эти стройные кущи, цветы и сады.

Службу правил по чести, да вот обессилен,
Душу живу в Руси охранить нелегко.
Утерял я бесплотность. Мент меня выселил.
Как тут быть, ты скажи, подопечный Лайко?

Жизни срок на земле всем отпущен короткий,
Только сроки людские неволи длинны —
За тебя я прополз особлаги и крытки
Этой проклятой Богом печальной страны.

Покаяния нет. И не будет. Во храмах
Вохра ладная лбы расшибает вразмах,
Чьи личины недавно сияли во рамах —
И в цивильной кепчонке, и в сапогах.

И никто не ответит за воздух пропахший
Душной казнью подвала, за равенства бред,
За народ, Бога дико поправший, пропавший,
Из истории выбывший — был да и нет».

По аллеям берлинцы ступают степенно,
В большинстве явно западного образца,
И здесь водку глотать не скажу, чтобы стрёмно,
Просто шествию немцев не видно конца.

Вот старушки-воздушки, старушки-чистюльки
Гордо, словно короны, несут парики,
Набредают на нас и сжимают кошёлки,
И шаги убыстряют, как феи легки.

Что ж, во славу кончины двадцатого века,
Пей, мой ангел, и шерри, и бренди до дна!
Что Берлин, что Москва — века этого Мекка,
Где недавно ещё правил бал сатана.

Из Европы на Русь абсолютное знанье
Книгочеи везли и по сей день везут,
Потому-то в Германии, как в назиданье,
Я и ангел на лавочке пьём «Абсолют».

* * *

Две ведьмы соревнуются в дзюдо:
Одна простоволоса и патлата,
Другая кривонога, старовата,
Ей бы вязать и ожидать Годо,

Но с диким криком и повадкой каты
Француженку из города Бордо,
Девицу томную, да в два обхвата,
Ломает о железное бедро.

Ау, эмансипанки, туристки!
Гринписки, феминистки, одалиски!
Всё до поры. Глядишь, среди игры,
И, думается, это время близко,
Когда под тяжкий рок, хрипящий в диско,
Вас повлекут в железах на костры.

* * *

Конечно, разговор обычно пуст.
Ну что там? Чаще о погоде –
То о жаре, то о прохладе,
Похоже на общенье вроде,
Но более на недержанье уст.

Намедни педик, местный златоуст,
В бабско-бретелечном наряде
Вещал с экрана о свободе.
А с ним, нет, с ней балакал дядя,
Опасливо дивясь на мощный бюст.

Затем был пастор и какой-то хлюст,
Беседа шла о Божьем граде
И о берлинском love-параде,
Что он открыт и Бога ради,
Связь эту предрекали Фрейд и Пруст.

Конечно, разговор обычно пуст.
Ну что там? Чаще о погоде –
То о жаре, то о прохладе,
То во саду ли, в огороде
Крыжовника неопалимый куст.

* * *

Ни пить, ни петь почти не стоит,
Но кельнер пред тобой стоит.
Когда ты загнан и забит,
Когда тебя в тепле знобит
Полночной кнайпы –
Сядь за столик.

Послушать тишину? Навряд.
Здесь кружки бродят невпопад,
Хоочут дёвицы до колик,
В табачных плавая клубах,
В бровях серёжки и пупах.
Возьми холодной водки шкалик
И слушай: снег шуршит на поле
Ваганькова ли, Вострякова...

За тех, кого не встретишь боле,
Ты выпей. И наполни снова.

Босх

И возвышался пир обширный,
Вступая в души и права –
Убийство, острая жратва,
И клевета, как угорь жирный,
Поют «Ла-ла»,
А гвоздь стола –

Интрига
Наподобье сига.
Мотив её – та-ра-ра-ра.

Подлог –
Икра.
Она детячими глазами
Глядит, омочена слезами,
Глядит доверчиво и прямо:
Где едоки?
Рожает мама!

Идут,
Едят,
И не случайно
В наростах мяса их носы.

А этот морщится печально –
Что?
Уши –
Кровяные груши,
И жирный пот
Ползёт в усы.

Косит на стол едок –
Что хочется?
– Ура! – кричит,
Жуёт и мочится.

Ура!
Весёлым барабаном
Оркестр стукнул облака,
И баба, развернув бока,
Восходит медленно и пьяно.
Её, румянную от похоти,
Подъял атлет,
Худея в хохоте.

И закружился хоровод.
Бежит урод,
Поёт урод –
Все улыбаются подряд –
Один рогат,
А вот – клыкат,
А этот – краб,
Клешнёй стрекочет
И приласкаться к бабе хочет.

Тот что-то плачет
И бормочет,
Покрыт коростой,
Чешет,
Чешет
И там, и тут,
И лоб, и зад.

Носы растут.
И рты,
И уши,
И уменьшаются
Глаза.

An Mariechen

Два мужика метают Dart.
В окне – Берлин, автобус, март,
Летит капель, гонима ветром.
Какими строфами и метром
В письме изобразить всё это?
И пятна солнечного света
Сквозь дым бегущие к окну
Вскользь по бильярдному сукну?..

А вот Mariechen. Полупьяно
Глядит, дымит марихуаной –
Так изменилась, и всё та же –
А годы трудового стажа,
Когда она бледнее мела
За стойкою пивной белела,
Считай с той европейской ночи...
По книге – тёмной, так – не очень.

Два мужика вошли в азарт.
Dart разогрел их или март?
Один из них права качает
(Что драку здесь не означает)
Какой-то чувствуя подвох,

Беснуется, орёт: – Arschloch!*
Финал немецкой драмы прост:
Пьют, отышавшись, пиво. Prost!

Уходят гости и приходят,
Заводят речи о погоде,
О пробках на дорогах – штау,
О марках, евро, детях, фрау.
Старик читает dame тусклой:
Авария подлодки русской...
Неповоротливость генштаба...
И эни-бэни квинтер жаба.

* *Arschloch* /нем./ – задница.

Воспоминания на Brusendorfer Strasse

(Берлинская баллада)

Жизнь продолжается – сегодня понедельник,
На Brusendorfer Strasse тишина,
И часового нет, и только Бог-подельник
В процессе этом. И ещё – луна.

Царя лесного зов сквозь Sturm und Drang и ельник,
Поэт мнит перевод, а ученик-охальник
С Полиной романтизмом дотемна
Неутомимо занят, и она
Увлечена отнюдь не гётовой балладой,
Но отроком смешливым, с коим сладу,
Ну, просто нет... – Изыди, Сатана!

Отсель мне Трифоновская видна
На горке с Трифоном и домом деревянным,
Где коммуналки тонкая стена –
Стук-стук! – аукнулась вторженьем окаянным.
Комедь стряслась в ночи, а время было оным,
Закон, вдруг воссиявший серебром погонным,
Полину испугал – так сделалась бледна! –
Любовь и жизнь, и смерть – всё смертная вина

В Московии моей... Какого же рожна?
И повязали, выдернув из сна.

Старлей вещал в ментовке языком картонным,
Стращал статьями и корил страной –
«Оскорблена соседка вашим действом шумным,
Нам жалится на вздохи за стеной».
И, подписав, шагнули в снег ночной,
Вокруг редких фонарей светящийся зелёным,
И жёлтый цвет мерцал, то вдруг иной,
Снег устремлялся вверх пробегом окрылённым
К потухшим окнам – черноте глазниц,
Позёмкой шелестел по улицам пустынным,
И упадал слезой с твоих ресниц.

В державном унижены нет границ.
Ты плакала навзрыд, как дети, – безутешно.
Ступени шаткие пролётов лестниц
Скрипели, и ворчал соседкин шпиц...
Мы как бы возносились над землёю грешной.
И вот добравшись до твоей скворешни,
Сидели долго и безмолвно в тьме кромешной,
Пока ты не зажгла настольный свет:
Тахта и коврик, стул и стол, буфет –
И знамо – как предмет сечёт предмет.

Трофейный коврик – Запада рассадник.
На нём – Ich Liebe dich! – стих записной.
А царь лесной? Нема. Есть, правда, всадник
На взмыленном коне и замок под луной.

Я слово позабыл. А должен был сказать!
Теперь, спустя полвека, ручку взять
Так не с руки... С чего начать письмо?
Спасибо за приют? Что там «спасибо»...
Ich Liebe dich! – за тыщу вёрст – Ich Liebe!
Я вас любил. Любовь ещё быть мо...

Из Помпейских хроник

ПОМПЕИ

*...Мнёт нам бока огромной толпою
Сзади идущий народ:
Этот локтём толкнёт или палкою крепкой,
Иной по башке тебе даст...*

Децим Юний Ювенал

*И стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти первым днём.*

Александр Пушкин

Для русской кисти, вероятно, первый,
Но горожанам было невдомёк,
Что их последний, нонешний денёк,
Приманкой станет для туристской хевры.

Звенят экскурсоводочкины нервы –
Звучит её зазубренный урок,
Хотя подсел заметно голосок,
И в ярости шипят глухие стервы.

Голландке тощей на один зубок
Кусище вегетарианской пиццы...

Ну а теперь – спешит вперёд пробиться,
Получше видеть, слышать, приобщиться,

Вот только финки – под балдой сестрицы –
Теснят её, толкая в грудь и в бок.

ВИЛЛА ПЛИНИЯ В МИЗЕНЕ

В девятый до сентябрьских календ
День солнечный и вместе с тем не жаркий,
Упущен Плинием был тот момент,
Когда в судьбу его вмешались Парки.

Но знак был дан, и со ступеней арки
Он видел в небесах неверный свет
(я в тот момент глотнул из фляги старки,
Таясь, – не дай Бог, итальянский мент!) –

И облако – как будто роща пиний,
Одна в одну, не нарушая строй,
Впечатывалась в крой из чётких линий –
Стояло кроной чёрной над горой.

Послание небес темно порой,
Его не разобрал массивный Плинний,
Ему б на Капри, в рай зелёно-синий,
Жить-поживать, худеть... А наш герой...

КАПРИ

На этом острове худел совсем другой,
Хотя всегда был худ и грудью слабый;
Умучили в конец чекистки-бабы,
И стал он кесарю невольным, но слугой.

Нам только снится, так сказать, покой:
Являлась вилла – плиневой не хуже –
И Ходасевич выходил на ужин,
Издалека помахивал рукой.

Но не спалось, стонал, вставал, знобило,
А утром вновь малинныe дела...
О, Господи, как быстро тают силы,
Куда ни кинь – везде выходят вилы...
Тень Рябушинского его усыновила
И пролетарским Гёте нарекла.

СТАБИИ

1

...А наш герой своё направил судно
На Стабии и пересёк залив.
Стояли черные дымы вдали...
И это Стабии? Поверить трудно.
Повозки, всадники – народ валит
Дорогой в порт, а там столпотворенье.
А вот для вора – чудное мгновенье,
Но о любви не грезит, паразит.

2

Такой же на Москве присутствовал бедlam,
Когда вождя препровождали в путь последний,
Хотя не верилось – бессмертным был намедни,
И вот в Колонном он с цветами пополам.

Звала свидетелей крикливая мадам,
В своём кармане обнаружив чью-то руку,
В смертельной давке, еле двигаясь по кругу,
Хрипела в ухо щипачу: «А по мордам?!»

Желанье сполнить это – не с руки зело,
Так как в толкучке смертной и рукой не двинуть,
А вор свою не может из кармана вынуть –
В отчаяньи они пллюют друг в друга зло.

А от вокзалов Подмосковье шло и шло,
На Сретенке смешались в кучу кони, люди...
Гора галош – всем общим памятником будет!
И особливо тем, кому не повезло.

Связь времён

Вот связь времён
Иль что-то вроде,
И неразгаданное мной:
Безумье Батюшкова бродит
Меж горсоветом и пивной.

Ах, Вологда, да холода
В осенней редкости прохожих...
И показалось мне тогда –
Не ты ли, Вожега, тревожишь?
И разговор двух зеков бывших,
Своё отбывших, чуть подпивших
Среди остывших макарон:
Про то да сё, и Кальдерон,
И обо всём, и ни о чём...

И Вожега здесь ни при чём,
И так туманно и случайно
Виденье вожегодской чайнай...
Так что же, Вожега, тогда?
И молчаливо Вологда
Свои вздымает купола
В безлюдье площади и парка.

В бидоны – бьёт в колокола –
Телега с пьяною дояркой.

– Провинция, прости Москву! –
Так тихий дождь кропит осину.
Ты спрашиваешь, как живу,
И понимаю я насилиу
Смысл разговора твоего –
Истмат... Вчера... И торжество –
Экзамен сдан.

– Кум королю, –
Ты говоришь –
Билет куплю,
Поеду в Ленинград, Карéлию...

Я в Вологде ещё стою,
Хотя с тобою пью в шашлычной,
На этикетке – вид столичный,
В окне опять же вид столичный,
Обслуживают нас обычно:
Официантки офицерам
Вино сейчас же подают,
Всем прочим и пенсионерам
Вино попозже подают...

Официантка!
Есть у Данте
Мотивы бледнолицей донны –
Затянута в корсет канцоны,
Она становится Мадонной.

Официантка, хочешь тонну
Стихов красивых, как майор?
Официантка глаз скосила,
Скосила, словно бы спросила:
– Зачем, товарищ, ваш укор?

Дом в Пренцлауэрберге

/Gebaut 1898/

Дождь бьёт по красной черепице,
Из каждой добывает звук —
Игра случайных нот вокруг
Стать строем вовсе не стремится,

И в старом доме половицы
Скрипят, и этот скрип — испуг,
Им снится прошлый век, досуг
С неперевёрнутой страницей.

Дом расположен на границе
Столетий или двух эпох.
В окне детей струятся лица,
И по стеклу течёт водица,
И то, что может повториться
Двадцатый век... Не дай-то Бог!

* * *

Нет на деревне тёплого сортира.
Г. Сапгир

Конечно, происходят перемены,
И снова тьма спешит, сменяя тьму:
Бандиты, демократы, бизнесмены,
Война в Чечне, глядишь – война в Крыму.

Кому угодно помнить Колыму?
Все вохровцы таперчи джентльмены,
Любители Пегаса, Мельпомены,
Набившие швейцарскую суму.

То ль к Ильичу вертаться? Аль к Петру?
Кому-то каннибалы по нутру,
Их почитают и в стране, и в мире...

А хочется — о, Русь! — тепла в сортире,
Да водки небалованной в трактире,
Ну и живым проснуться поутру.

Прощание с друзьями*

Как странно, я всё жду. Всё кажется придёшь,
Тесёмки обветшалой папки расплетёшь,
И, словно в Тёплом стане, как когда-то,
Прочтёшь – заснеженный и бородатый –
Стихи... И, право, что тебе пивной галдёж?

Я продолжаю жить в раздолбанном Берлине.
Его, столицу рейха, украшают ныне –
Объединение, но в нём прогал, зазор:
Объединенье — да, а единенье – вздор,
Но нынче Рождество, огни и снег, и иней...

Признаться, не видал баркасов здесь во льду,
И всё ж задумывал, и много раз в году,
Что забредём сюда мы, может статься,
И: «...Бюргерброй»... В разлив... В тени акаций.
Я эту кнайпу и зимой имел в виду.

Роятся мотыльки — рождественские свечи.
Ты что-то говоришь, подняв худые плечи,
И красит женщину свечей неяркий свет.
Три года как тебя на этом свете нет,
И два как нет её, и времечко не лечит.

* Так называлась поэтическая книга героя этого стихотворения, которую он сделал в печать перед кончиной и не успел подержать в руках.

Череп

*«Будете хорошо работать –
будем хоронить в гробах!»
/Речь начлага перед строем заключённых/.
Из письма Аркадия Белинкова*

Вот часть человека, ставшая вещью,
Улыбка чернеет и холод в косты.
Космос в глазницах клубится зловеще –
Звезда ли родится, змея просвистит?

Марс над страною восходит и блещет,
И пастыря нет, чтобы стадо спасти.
– Ах, во саду ли! – мотивчик из вещих –
Кровища захлещет, траве не расти.

Странно подумать – косицы висели.
Эй, девица, где ты гуляла? Ay!
В твои позвонки отзвонили метели,
Поскольку не всем эта честь – во гробу.

Посвящается славистам

Вот телогрейка.

– What... is this?

– Bushlat,

Матерчатый, ещё не деревянный.

Душа отбита, да и тощий зад

Едва прикрыт, а холод окаянный.

Примерьте – и завьюжит, и у врат –

С ключами Пётр... Иваныч тихо пьяный.

Но жутче лейтенант – загонит в ад –

Голубоглазый, молодой и рьяный.

Что вы сказали? В Лувр? Как экспонат?

Не кажется ли эта мысль вам странной?

Треченто, Кватроченто, ряд наяд,

Пикáццо и... Bushlat, софитом осиянный...

Но что любителям и знатокам картин

Глухим несчастьем стёганый ватин?

* * *

Чем ближе смерть, тем явственней детали
Картиноч жизни – каждый шаг и миг –
Одну из них явил мне твой двойник
В берлинском баре... Помнишь? – да едва ли! –

На Сретенке в стекляшке мы сидели,
Когда раздался грохот, звон и крик –
Скользнувши по столу, упал старик,
Кальсоны из его штанин синели.

Не угадать отседва свой уход.
Примчит повеса? Докторский уход?
Вполне ведь может вывернуть и так,
Когда в апоплексическом ударе,
Как тот старик, ты попадёшь впросак
На Сретенке или в немецком баре.

* * *

Такой сухой невзрачный старичок,
Ещё очки прилаживал он странно,
Ловил руками снег и видел — манна,
Дар избранным, её даритель – Бог.

До умопомрачения скачок!
Но критика его полотен бранна,
Хотя столп света в Лондоне тумана
Даст барбизонцам цветовой толчок.

А позже – Арль и красный виноград,
Сосна Прованса посредине лета –
Всё это и провидел старикан
Тому два века, почитай, назад.
И он всегда, пока скрипит планета,
На каждый праздник света будет зван.

Туман в Гамбурге

Памяти Ю. К.

Ползёт по готике туман,
Как бы парок московский, банный,
Но даже в яви иностранной
Недолго тешит нас обман.
И град кривой, мне Богом данный, –
Холодный сон про Тёплый стан.

Перекликаются суда –
И громогласно, и железно.
И что гадать тут? Бесполезно.
И даже думать, господа,
Какой же чёрт загнал сюда,
А, может, ангел мой болезный?

Куда белёсые бады
Плынут ослепшие, чтоб слиться
С туманом, и не возвратиться
Ни в порт, ни на круга свои?
Не потому ль сегодня птицы
Как бы хмельны и в забытьи.

Куда уходит человек,
Едва успев от сна очнуться,
И, оглядевшись, содрогнуться –
Ан камешек да имярек.
И на Москве метётся снег –
Хватило б сил не оглянуться!

А жизни сей халабала
Идёт, как фрау Шмидт за снедью,
Пронзительною готской медью
На кирхе бьют колокола –
Вот здесь твою страшной смертью
Меня Россия догнала.

Гибралтар

Тане

Бессоница. Гомер. Аптека.
Тугой кусок холстины грубой –
Белеет парус голубой...
Живи ещё хоть четверть века –
Всё слижет вафельный прибой.

Но прежде нам дано с тобой,
Когда рейх рухнул в одночасье,
Непозволительное счастье,
Тот привкус вольности особый
В запретной прихоти любой.

Дан белый град Бенальмадена –
Засвеченный на солнце кадр –
И мачты яхт, жары угар...
Явь обреталась постепенно –
Прохладой привечал бульвар.

Ну разве не Господень дар –
Помола местного коврижка,
Вина бутыль – так где же кружка? –
Помянем коммунальный тáртар,
И третьим будет – Гибралтар.

Что же касается прибоя,
Который волны нам печёт,
То вафля – чёт, то вафля – нéчет,
Объяты синей синевою,
Им и векам теряем счёт.

III

До востребования

Стихи в письме

Иола, как ты спишь? Как голова?
С кем спишь – не суть. Прошла ли печень?
А я, признаться, чувствую не очень.
Из рук вон. И не клеятся слова.

Ночами ничего. Как к черту в ступу
провалившись – ну и разбудит гимн.
Вот вечерами, с двойником твоим,
мне хлопотно. И в общем глупо –

сидит напротив, ест, когда я ем.
Читаю – глядь, и он читает.
Но руку протяну – растает.
Кто сделал это, лорды? И зачем?

Иола, ты по фразе из «Макбёта»
не выведи: сошёл с ума.
Влетел эпиграф в эту часть письма.
И пусть его. И мне на это...

Грусть гнезда вьёт под потолком.
Чернеет воронье в дворовых липах.

Почти что в фортепьянных всхлипах,
в их криках, расстоянья ком.

И ревность бьёт куда-то ниже
и пояса, и... Господи, уволь!
Ревнивца незавидна роль,
и доблесть переспать в Париже.

В отеле «Хилтон» галльская луна
щекочет лучиком тебя за ушком...
Напиться б с горя! Где же кружка?
Стакан отыщется, да нет вина.

А пить? Во здравие? За упокой?
Хотя покой какой? Живой же.
Из Франции тебя ждет некто в Польше.
Дрожь не унять ни водкой, ни строкой.

От этой дрожи звякает посуда,
землёй трясётся матушка-Москва.
«Иди к врачу!» Ты, как всегда, права.
Ах, голосок, звучащий ниоткуда!

Ты бардzo культуральна. И клистир –
деталь геральдики твоей, Иола.
Что? Грубо? Скальпель? Склянку йода?
Что рядом с овном в герб внести?

А, может, жолнежа? Что твой зуав?
Как польяку азиjsкая природа?

А на дворе хорошая погода!
Я в нелюбви к врачам не прав.

К кому отправиться? Вот в чем вопрос.
Довериться какому Фройду?
У нас они такие пройды,
а их лекарства – мент и психовоз.

Ещё расспросы – кто ты и откуда,
с кем жил да был и с кем знаком.
Что шьётся? – маешься потом –
любовь, политика или простуда?

О чём то бишь? Так вот, о двойнике.
Иола, я вас путаю порою,
и, кажется, беседую с тобою,
а он – двойник – в парижском далеке.

Два профиля – как змеи ли, камеи –
мерцают в сумраке, и лишь с рассветом
забрезжили слова, вдруг став сонетом,
который посвящаю вам, обеим:

Улыбка. Ухо. Волосы блестят...
Живая? Да. Но к вещи тяготенье
Летит в глазах, и на мгновенье
Я вижу – бельмами источен взгляд.

Цветочной прели слышу аромат –
Так пахнет наша страсть. А, может, тленье?

Мертва? Но это белое движенье
Руки. И медленных волос распад.

Вот зашуршала в пальцах шоколадка.
Одно лишь знанье – сладко и несладко –
Смущает – да и то слегка – твою

Щель нежную. Но мы запишем – душу.
И я ничем покой твой не нарушу.
Пустыня. Камень. Мумия. Люблю.

Так с римской прямотой Катулла
швыряю клаузулу в лоб.
Продрав глаза, нагнулся, чтоб
поднять листы, упавшие со стула.

Иола, вот стихи, где до сих пор
мотив не поддается правке.
(Я подготовил рукопись к отправке,
чем выполняю давний уговор).

Но что стихи тебе? Без перевода.
Я в польском слаб. Ты в русском не сильней.
Оставь на вечер. Днём слова страшней,
изменчивей тебя, моя uroda*.

Шопен не ищет выгод, но виной,
наверно, он, что ты совсем другою
глядишься в пьесе, начатой строкою
«Кто там сказку затял со мной?»

*uroda (польск.) – красота.

Кто там сказку затеял со мной?
В мой московский уют лубяной,
ледяные минуя заставы,
залетел воробей из Варшавы.

У паненки лукавят слова,
но запястье – предмет волшебства,
до смешного хрупок сосуд,
где хранится Шопенов прелюд.

Это, Господи, промысел твой,
белокурой склоняясь головой,
дарит давней свободы мгновенья.
До видзенья, летун, до видзенья!

Там, на Малой Грузинской, гнездо,
где птенцам ставят верхнее «до»,
а фа-соль на плите закипает,
и вахтерша едва не шмонает.

Общежития воздух тяжёл.
Но сосед твой – бесхозый костёл,
как слепец, будет долго беречь
звуки встречи – музыку, речь.

Эта музыка – светлая рябь,
это слово, что дал мне арап,
жизнь спасают от униженья.
До видзенья, летун, до видзенья!

В шелестенье концертных афиш
на карнизы Европы слетиши,
и в комфорте казённого рая,
просыпаясь, пассажи гоняя,

мне оставь в подешевле ряду
место, зная, что я не приду.
Пусть фаланги станут грубей,
пусть ответит ладом «Стейнвей»,

пусть позёмка залижет твой след.
Что мне счастье, которого нет?
Да и воли. И просто везенья.
До свиданья, летун. До видзенья.

Мне лень вставать, идти и ставить чай.
Опять февраль кружит нас по Садовой,
где каждый звук исполнен жизни новой
с поправкой «до видзенья» на «прощай».

А впрочем, что нам встретиться, Иола?
Чем ад не место? Всяко может быть.
Ты, как Франческа, будешь слезы лить,
я – выть белугой, как Паоло.

Посуше Арль. Ад – гибкий край.
Но, зная жёсткую твою повадку
и рта черствеющую складку –
чуть приплатив, обменом въедешь в рай.

Играй, играй! Как ходят пальцы правой
в кошмарнейшем этюде Листа?
Болят? Все ли берётся чисто?
Как публика? Цветы и «Браво!»?

Прервав письмо, мотался по делам.
И время не стояло. Снова вечер.
О чём шёл разговор? Ах, да, о встрече.
Ад не устроит? Как тебе Бедлам?

Зови Москвой, Варшавой, хоть Майами –
обёрткой эту жизнь не подсластишь.
И мне равнó – Коломна ли, Париж,
российский бред везде пребудет с нами.

Об этом очень знает Вечный жид.
Но – человек. Солжёт. Лишь вешь расскажет
и тайною печалью свяжет.
(Коль правдой не убьёт, так освежит).

Смотря в окно, смотрящее на запад,
лопatkами, затылком чуя Русь,
пишу я «Вещи». В них не то, что грусть,
но дым отечества. И дыма запах:

Я слышу жизнь вещей. Их голоса.
Их диалоги, смех, молчанье, ропот.
Щепа шумит – мордовские леса.
Скрип стула мелодичнее, чем Сопот.

Рапан иль как там? И немолчный рокот.
Атлантика – российская слеза.
Иных уж нет. А кто-то так далёко...
Нальём? И вещи голосуют «за».

На рюмке проба – год рожденья бабки.
Дом деревянный, хворост сладкий,
Ну а белья морозного прокатку

Проговорит доска, которой нет...
И пью, и слушаю. И, как облатку,
Кладу я под язык тебя, сонет.

1976

Анапские строфы

Не мёд, но пот – и по усам,
дурею от жары, не знаю сам
зачем я, заплутав, сижу здесь дотемна,
смущаю прах ваш, Евдокия Павловна,
зачем речь сбивчивая к вам обращена –

ряд или бред бессвязных сцен
эпохи социальных перемен,
хмелившей более, чем белое «Міцнé»,
и стольких воробьёв проведшей на мячине...
Лишь стреляный трезвел. Но дело не в вине.

А впрочем, может быть, и в нем.
Я пил с утра, потом в хинкальной днем,
но рядом – пляж и крик, вот и забрёл сюда –
маяк, погост, обрыв – сижу, гляжу отсюда
на море, на закат, на дальние суда,

на камень ваш – он у обрыва
отчасти гордо, но и сиротливо
возносится среди оград, крестов болезных,
подкрашенных кой-где стараньями родных,
средь греческих разбитых плит, средь звёзд железных.

И алюминиевый цвет
по кладбищу разбрасывает свет
довольно радостный. Фонарь, забор, верста –
все та же краска – памятник или ворота,
скамейка ли, киоск, могильная плита...

Что это? Равенства залог?
Уныние грешно, и, видит Бог,
я, Евдокия Павловна, бегу тоски,
но был мне скормлен этот цвет из детской соски
и он подкрасил кровь, судьбу, потом виски.

Вам трудно, видимо, понять,
нас разделяют ни «фита», ни «ять»,
ни годы, но... галактики. Жары дурман
сбивает с панталыку, и прочёл я – Шумань,
в то время как на вашем камне – Шаумань.

И видится подвижный немчик,
сменивший на сюртук кадетский френчик
и ручкой сделавший родне любвеобильной.
– В Россию? – О, майн гот! – Лишь с честностью одной?!
– Он движим бедностью... – И гордостью фамильной!

Оставив Лотхен куковать,
и, отыскав в Санкт-Петербурге мать
вашу – аль бабку, что верней – открыл салон
«Корсаж-плюмаж». Так что за дочь был счастья полон
ваш дед по матушке отец Авессалом.

– Мой милый Августин, мой Августин, – певал он, толику приняв.
Коль дочек семеро, то что тянуть нуду – сам и венчал по православному обряду,
призвав чету к любви, терпенью и труду.

Ну что за диво! Братья Гримм!
Ай, сказка, да ещё поездка в Рим.
Неужто к россам был вельми свободный въезд?
На современный взгляд – фантастика! И выезд?!
Ваш прах свидетельствует перемену мест.

На камне золотятся строки –
пять-шесть высоки, две глубоки –
из Фофанова, Павловой. Стихи при этом
нам с горечью и грустью говорят о том,
что рано вы ушли, отбыв свой срок поэтом.

Сейчас, любительница муз,
анапский поэтический союз
навряд бы отпустил на монолит рубли,
как вас читатели бы в массе ни любили –
певицу строек и берёз родной земли.

С рублями, Евдокия, нда...
Я сзымальства без них. И навсегда.
Привык. Но вам-то без привычки – просто швах.
Вот хорошо бы родственник какой во швабах –
глядь вспомнит и пришлёт пяток ночных рубах.

Таков пейзаж и антураж.
Рубахи – мелочь. И кидаться в раж –
лишь Господа гневить. Считайте – повезло,
что есть на ЧТО надеть (то есть в наличье тело),
и можно, сжав персты, перекрестить чело.

Шалеет время. Кроме злобы
еще есть трус и водка. Ей особый
почёт – течёт, строив строителей державы,
где питие веселием считалось, но, увы,
теперь лишь тризной отдаёт. И кильки ржавы.

Простите, беспокою вас.
Воображенье, а скорее глаз,
напишет старую Анапу, городок,
который был, конечно же, на новость падок,
а новость – ваш приезд и кашель, и платок.

От Петербурга вдалеке
вы в белом платье, с зонтиком в руке,
предчувствуя тоску, у моря взаперти
кляня болезнь, свалившуюся так некстати,
совсем не думали свою здесь смерть найти.

Наоборот, куда острой
средь греческих фелюг, шаланд, сетей,
хожденья к маяку, прогулок на базар,
где Снайдерс бы поблёк, а дыни лили сахар,
почувствовали вы вам свыше данный дар.

Итак, что ране вы писали?
Цитировать стихи возьмусь едва ли,
но думается, было: «не иссякли звуки»,
и жертвенность, и «мановение руки»,
кого-то призывающей «идти на муки».

И он пошёл. Влюбленный в вас,
в признаниях своих он всякий раз
сбивался с темы, и... «Свобода... Идеал...»,
и сетовал на жизнь, на то, что мало сделал,
и вот пошёл в народ. Но тот его не звал.

Был бит зело под Костромой
и в длинных письмах из тюрьмы домой
описывал свой новый быт и звал к борьбе,
а вам прислал стихи («строгий не будьте к пробе»),
где ВАМ исправлено на жирное ТЕБЕ.

Той осенью вас представлял
широкой публике один журнал,
до дыр зачитанный им в ссылочной дыре.
Зимой с тоски покончил он с собой на Каре,
и вы, грустя, венчались в том же декабре.

Затем с супругом вы в Париже,
Карлсбад и дале Альпы – санки, лыжи –
весна в Венеции и лето в Палестине,
где крест, висевший на гостиничной стене,
вдруг натолкнул на мысль, осмеянную ныне.

Смех, впрочем, начался давно.
В век девятнадцатый так неумно
науке предпочесть миф, обращённый в прах;
в двадцатом веке этот смех притих на нарах,
был «посильнее «Фауста» немотный страх.

На жизнь свой отоварив чек,
скудеет человек в научный век.
И впрямь – чего искать на рубль пятаки,
когда душа легко переместилась в пятки
и так покойно ей? Да будут сны легки!

Во всех обличьях хороша
загадочная русская душа –
палач или Пугач, лампасы пришлеца...
Где милосердия (да и была ль?) сестрица?
А злобе несть числа, и мести несть конца...

И открываю я напиток,
скорее приготовленный для пыток,
чем для торжественных и прочих возлияний
(глоток – желудок твой завоет, точно Вий) –
«Кавказ», «Агдам», «Долляр» – какой букет названий!

Курорт. Нет водки. Хлещешь дрянь.
А вы-то что пивали? Финьшампань?
На променаде, в Царском будучи Селе,
обедая, что принимали, в самом деле,
коль возвращались в Петербург навеселе?

Муж, славный малый, интендант,
пил водку, и блистал его талант
вышучивать накал передовых идей,
эмансипированных дам и нервных дядей –
прямых, как трости, новых, так сказать, людей.

Быть может, и смешны они,
но вы заметили, что ваши дни
заполнили их злость и жесты, и слова.
Не принимать? Порвать? Но как? Друзья. И снова
за чаепитьями болела голова.

Вы в кресле у окна скучали,
но вас ничуть друзья не замечали,
а разговор случись – сведётся все к упрёкам,
как школьицу – линейкой по рукам,
за равнодушие к общественным порокам.

Летят года. Хандра. К тому же
при ипподроме покупает муж,
так, в общем, пустячок... Аптеку. Се ля ви.
На это милый тратит уйму сил и крови,
твердя, что лошадь стоит, как и Русь, любви.

Он одержим. Его проект:
им в компаньоны взят один субъект,
который только что покинул Новый Свет.
По типу тамошних – он в тонкостях все знает –
в аптеке ставятся столы а ля фуршет.

– Двойная выгода, ма шер,
пошаливают нервы, например –
в аптеку поспешит педант – пожалте, бром,
но игроки завзятые стоят на старом –
анисовая, расстегаи, старка, ром.

Муж, отдалившись делами,
друзья да критика (та, между нами,
уверена: в Руси словесность лечит плётка) –
все это по весне на белизне платка
дало кровавую отметину – чахотка.

К концу идёт напиток мой...
Уже смеркается. Пора домой.
Что ж, Евдокия Павловна, пора отсель.
А дом, где жили вы, дом капитанши Стессель,
стоит. Там за троек снимаю я постель.

Теперь в нем несколько семей.
Хозяйкина племянница, ей-ей,
ещё жива, и ей курорт даёт навар.
Отнюдь не бедствует, она же мой шеф-повар
и ставит ввечеру старушка самовар.

Все в детстве остро и пестро.
Ей помнится: колышется перо
на модной шляпе бывшей фрейлины двора;
Киссиди, местный туз, гурман; торговцев свора;
помещик тульский Мнёв и вы, и доктора.

Тянулись дни не без печали,
но вас заметили и привечали.
В дворянском вечер был (афиша и билеты),
и вы прочли без позы и без суэты
свои любимые последние сонеты.

Открыв бювар, глядите вы
в окно, ослепшее от синевы,
где игры Бёклина мрачны, но и легки;
сквозь слезы – то ли утреннего моря блёстки –
перебираете тюремные листки.

– Мой мальчик, бедный мой, прости
стихи мои тех лет и отпусти
грех суевности произнесённых слов,
ovationии университетских залов,
тот рыцарский, скликающий на подвиг зов.

Давно и рано ты угас, –
вы говорите с ним, в который раз
ему или себе пытаясь объяснить –
что? Жизнь? Судьбу? Рыдаете, клянётесь помнить,
и мысль теряется, и разговора нить.

– Раз в месяц-два письмо бывает,
наш общий друг меня не забывает:
«...попалась на глаза в журнале ваша пьеса.
Все тот же тёмный миф, нелепость, чудеса...
В глазах передовых людей вы – враг прогресса».

Ну что ж, мне не о чем тужить.
Я независимо пыталась жить,
писать, не думая при этом ни о ком,
кто и куда меня зачислит ненароком...
Неужто и твоим я стала бы врагом?

Я фотографию твою
от мужа, словно грешница, таю,
но мною он любим – Господь его храни.
Тут плакал, как дитя, уткнувшись мне в колени.
Так вот... Я говорю бессвязно, извини.

Горяч наш общий друг весьма,
и злобой веет от его письма;
видна она в его речах, статьях – везде,
но разве ненависть подвигнет нас к свободе?
Свобода ненависти приведёт к беде.

Скажи, как это получилось –
все вами отдано уму на милость,
но ум наш так лукав, жесток и хладнокровен!
Мы сердце жертвуем ему, но сердце не овён,
оно лишь ставит человека с Богом вровень.

Мне хуже. Потому боюсь,
что не успею – вот и тороплюсь
закончить несколько моих заветных пьес...
От мужа телеграмма – как он это вынес? –
аптека лопнула, а компаньон исчез.

О, Комендантский ипподром –
и шум, и крик, рукоплесканий гром!
Будь я мужчиной, думаю, наверняка
и мне б понадобилась, подвернись, аптека,
соседство праздника – азарт, игра, бега!

Осталось мне немного дней.
Не потому ль на жизнь смотрю жадней,
а жить мне стоит превеликого труда.
Спасибо Господу, хоть пишется покуда,
вот только слово – мучает, как никогда.

Что слово? Личный путь к свободе?
А что до отзыва в народе,
то, чем он явственней, тем в слове фальши
больше... «А там уж и все средства хороши
в стяжании свободы для Руси и дальше».

Бутыль пуста. Ещё б глоток!
Простите, что прервал я монолог,
продолжив вашу речь в последних двух строках.
В безвременье всегда приходит мысль о сроках,
где ты, трубач, с трубою золотой в руках?

Пусть медленно она звучит,
волчица воет и петух кричит,
и смертный человек, сей глиняный сосуд,
глухонемого века молчаливый рекрут,
услышит звук, прозреет срок, увидит Суд.

Ужель при жизни повезёт,
и я, рождённый в беломорканальский год,
в Отечестве своём и твердь, и честь найду,
и из души все бывшее навек избуду,
а там и в гроб в раскаянной земле сойду?

Ах, Евдокия, вы поверьте,
прекрасный год вы выбрали для смерти –
на рубеже веков, эпох – девяностый.
Вы не увидите, как двинется Батый –
двадцатый век. Да с перышком, да косоротый...

Луна взошла. Горит неон.
Мерцают буквы – «Эжени Коттон».
Из корпуса выходит санаторный люд,
в мужских объятьях мамы-одиночки тают,
и дети их под кипарисами снуют.

Прибоя нарастает звук,
и говор гальки – деревянный стук –
до дрожи холодит, и тут я нездоров,
когда летейских слышу музыку оркестров –
стук бирок на ногах – фанеру номеров.

Что до трубы, то здесь она
по вечерам отчётливо слышна –
плывёт её металл и стонет вдалеке,
клубится пыль на танцплощадке в парке,
и тяжко мне идти, хотя я налегке.

Гремят в акациях цикады,
гульба, любовь, вечерние наряды,
и средь толпы – забвенья, водки ли алкая –
с народом в ногу, иль почти, шагаю я...
И море Чёрное шумит, не умолкая.

Москва – Захаркино, 1980-82

АЛЕКСАНДР ЛАЙКО родился в Москве в 1938 году. Окончил Московский Государственный Библиотечный институт. Профессиональное становление поэта относится ко времени появления литературной студии молодёжного клуба «Факел», возникшего в Москве, у Харитонья в переулке, во времена студёной оттепели конца пятидесятых. В этой студии собрался почти весь московский андеграунд задолго до выступлений поэтов Маяковки и смогистов. Здесь можно было встретить молодых тогда Михаила Агурского, Юрия Карабчиевского, Семёна Гринберга, Станислава Красовицкого, Валентина Хромова, Леонида Черткова, Андрея Сергеева, Генриха Сапгира, Игоря Холина и многих других талантливых поэтов, прозаиков, драматургов.

Александр Лайко сближается с поэтами Генрихом Сапгиром и Игорем Холиным, учениками Е.Л.Кропивницкого, главы «лианозовской школы» поэзии и живописи. К нему вместе с новыми и старшими друзьями он ездит на Долгопрудную, а оттуда – обязательно в лианозовский барак к художнику Оскару Рабину, будущему главе московских художников-авангардистов.

В 1957 году Александр Лайко участвует в Первом съезде молодых писателей, где руководитель семи-

нара маститый певец комсомольцев-добровольцев, просто сдает его представителю известного ведомства. То ли времена настали и впрямь вегетарианские, то ли советский классик излишне перестраховался, но дальше угроз гебешника ничего не последовало, правда, жизнь поэта заметно осложнилась.

В бывшем Советском Союзе он публиковал только детские стихи и переводы. Ни одной строки «взрослой» поэзии в то время опубликовано не было. С середины семидесятых Александр Лайко начал печататься в русскоязычных эмигрантских журналах «22», «Время и мы» и других изданиях, а после перестройки в отечественных – «Апрель», «Знамя», «Кольцо «А», «Дети Ра» и др. Поэт является участником антологий «Самииздат века» и «Русские стихи 1950 – 2000».

С 1990 года живёт в Берлине. Александр Лайко является членом Союза писателей Москвы, членом немецкого ПЕН-клуба писателей, редактором русско-немецкого литературного журнала «Студия/Studio», автором трёх поэтических книг: «Анапские строфы», Москва, 1993, «Московские жанры», Мюнхен, 1999, «Другой сезон», Берлин, 2001.

СОДЕРЖАНИЕ

Станция «Пески»	4
Заката ходят снегири	6
Зимний базар	7
Преображение	9
Элегия	10
Пайка	12
Останкино-47	13
Московский запах	14
История – труд странный скарабея	17
Трубы фабричной	18
Любовь	19
Чистопрудный бульвар	20
У каждого – свой Гефсиманский сад.	21
Смотри, стекает лето в Лету	22
Когда душа со мной прощалась	23
Лебедь	25
Белое на белом	27
Пиво-воды	29
Бал	32
По Фридрихштрассе веет сквознячок –	33
Брошенная деревня	34
Кебаб на Фридрихштрассе	36
Пьеса игры	37
Дни снега на Берлине редки	40
Сретенка	41
Переложение псалма	42
Berlin	43
Восточный орнамент	44

И прибыл друг мой в Иерушалáим	46
Поэма моста	47
Ломберный стол	50
Октябрь уж наступил...	51
Дело № 17394 Унквд СССР...	52
Август шестьдесят восьмого	53
Пастораль	54
Там, где размах белья	55
Тщеты своей улыбчивый оскал	56
Стадион «Локомотив»	57
Утро туманное 7-го ноября	58
Открытка	59
Чердаки любви	60
Поэма снега	61
Мне этот мир преподаёт урок	63
Кривоколенный переулок	65
Официантка общепита	66
Тост	67
Вслед мотыльку	69
Картины	71
Взять саквояж – и двинуть из Руси	75
Ах, вокзальчик S-bana	77
Немецкий паспорт	78
Алкоголь	79
Восточный Берлин в девяностом	81
Как не было. А мальчик был. Сосед.	82
Ты ещё читаешь Блока	84
На улице, где припаркованы авто	86
На Brusendorfer музыка играет	87
Не по крови родство	88
Итак, дошёл я до Берлина.	90
Чистые пруды	91
В Крым скользнуть за стрижами, а там	92
Посвящается Швейцарии	93
Где фрау Мацке? Почто не встречаю?	95
Московский сон	96
Поэма артистки	97

Берлинский автобус	99
Как вам сказать – стариk? Нет, не стариk	101
А что касается сионских протоколов	102
Тиргартен	104
Две ведьмы соревнуются в дзюдо	107
Конечно, разговор обычно пуст.	108
Ни пить, ни петь почти не стоит	109
Босх	110
An Mariechen	113
Воспоминания на Brusendorfer Strasse	115
Из Помпейских хроник	118
Связь времён	124
Дом в Пренцлауэрберге	127
Конечно, происходят перемены	128
Прощание с друзьями	129
Череп	130
Посвящается славистам	131
Чем ближе смерть, тем явственней детали	132
Такой сухой невзрачный старичик	133
Туман в Гамбурге	134
Гибралтар	136
До востребования	139
Анапские строфы	147